



Л. И. ЛЬВОВ

Ключевский о России

I

«Старый государственный *порядок* разложился, но его формы и методы мышления, его импульсы и инстинкты оказываются еще весьма живучими в правящих кругах. С другой стороны, соответствующий старому государственному порядку тяжкий *сон народного ума* безвозвратно нарушен. Таким образом, с одной стороны, власть окаменевших старых форм и привычек властвования, с другой стороны — то бурное, то медленное, но безостановочное движение народного ума, проснувшегося к самочинному умствованию. И *поверх* этого глубокого язвенного противоречия — слабый тонкий обруч новых государственных учреждений. Спасет ли эта новизна, даст ли она окрепнуть новой государственной ткани, или и под ней гниение будет продолжаться, язва будет расти?»

Это — резюме одной из частных бесед Ключевского, записанное его собеседником. В самой формулировке и постановке вопроса о «глубоком и язвенном противоречии» слышатся ноты пессимизма. Статья, из которой взята эта цитата, озаглавлена «Пессимизм и оптимизм», и автор ее, не называя его имени, пишет про Ключевского: «Я поразился тому, как мрачно он смотрит на судьбы России, какими безысходными противоречиями полна для него наша современная политическая жизнь»¹.

Нам этот пессимизм ближе и понятнее теперь, чем в 1908 году, когда эта статья была впервые напечатана. Теперь слова нашего историка встают перед нами уже оправданным и сбывшимся предостережением и пророчеством.

Что случилось на наших глазах? «Старый государственный порядок», «разложившийся», рухнул и правящие круги пали жертвой своего пренебрежения к стихийному и болезненному пробуждению «народного ума». А «слабый и тонкий» слой «новой»

государственности не мог приостановить разлагающегося процесса и не сумел овладеть народным «самочинным умствованием».

Но это пессимистическое предсказание было ли лишь данью импрессионизму и только мимолетным, преходящим настроением Ключевского? Или, может быть, оно глубоко коренилось в его размышлениях над русской историей?

Раскроем книги Ключевского и поищем в них ответа. Конечно, прежде всего на память приходит первая лекция III тома его «Курса», — введение в нашу «новую историю». Здесь внешние успехи «новой» России образно охарактеризованы сравнением с «полетом птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев». Здесь же в четырех коротких словах дана формула и общей тенденции русского исторического процесса последних 2½ веков: «Государство пухло, а народ хирел». Эти слова, отчеканенные в формулу поговорки, стали знаменитыми, и в контексте изложения они завершают рассуждение о том «неестественном отношении внешней политики государства к внутреннему росту народа», которое, по концепции Ключевского, является роковым и несчастным для России.

«Народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства». Таков рок России в ее истории. Это — следствие той жестокой международной конъюнктуры, в которой русскому государству приходилось существовать в течение многовекового периода. «Едва ли, — замечает Ключевский, — в истории какой-либо другой страны влияние международного положения государства на его внутренний строй было более могущественно»².

В другом месте «Курса» читаем: «Россия образовала государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времен падения Римской империи. Но народ, создавший это государство, по своим духовным и материальным средствам еще не стоит в первом ряду среди других европейских народов. По неблагоприятным историческим условиям его внутренний рост не шел в уровень с его международным положением, даже по временам задерживался этим положением»³. Это несоответствие между внутренним состоянием народа и внешним престижем государства остро сказывается в эпоху Петра Великого, и опять-таки внешний фактор — война — прежде всего обуславливает кипучее реформаторство Петра. «Реформа, как она была исполнена Петром, была его личным делом, делом беспримерно насильственным и, однако,

непроизвольным и необходимым. Внешние опасности государства опережали естественный рост народа, закосневшего в своем развитии». Не будь реформы Петра «какой-нибудь Карл XII или Фридрих II поотрывали бы себе части России и тем еще более замедлили бы ее развитие»⁴.

Так «перед старой романо-германской Европой с выработанными формами общежития, с нормами порядка, превратившимися в общественные привычки и даже в предрассудки, с громадным запасом знаний, идей и материальных сбережений, накопившихся чуть не со времен Ромула и Рема, предстала новая русская Европа с одними способностями, подававшими только надежды, с большим количеством рекрутов и вывозного сырья, но без прочных культурных запасов: общежитие держалось только бытовой косностью, покоившейся на вере в стихийную неизменность отцовского и дедовского предания; вместо порядка существовала только привычка повиноваться до первого бунта, вместо знания одна любознательность, только что пробудившееся; все юридическое сознание заключалось в смутном чувстве потребности права, все богатство — в способности к терпеливой работе».

Какие же взаимоотношения могли возникнуть между старым Западом и только что вступившим на авансцену Востоком Европы?

«Эти столь несоизмеримые исторические величины, как Россия и Западная Европа, стали не только соседками, но и соперницами, вошли в разнообразные прямые соприкосновения и даже вступили в столкновения; по крайней мере, одна вовсе не была расположена щадить другую, а другая силилась не отстать от первой из страха стать ее жертвой»⁵.

Россия не стала жертвой Западной Европы и великой державой дожила до 1917 года. Но дисгармония между ее внешним положением и внутренним состоянием дожила до наших дней. Недаром с каждым словом только что цитированной страницы мы невольно вспоминаем черты нашей современности, факты нашей общей политической «автобиографии». На протяжении последних 2½ веков, прочно окрепнув, начал разлагаться и тот «старый порядок», катастрофический финал которого приходится переживать нашему поколению. При этом старом порядке «всеми льготами и выгодами, какими мола поступиться власть, осыпаны были верхи общества, а на низы свалили только тяжесть и лишения». «Если бы народ терпеливо вынес такой порядок, Россия была бы из числа европейских стран», но со времени пугачевщины до того момента, когда «Севастополь ударил по застоявшимся умам», народ переживает

вспышки тревожного брожения и толкает правительственную мысль к необходимости переработки этого «старого порядка»⁶. Но реформам не суждено было справиться с выдвигаемой жизнью задачей до конца. Теперь, когда Ключевский в могиле, мы узнали, что этот старый порядок мирно не сдал своих позиций до своего последнего конца.

II

Ключевский был пессимистом, так как он живо ощущал нависшую над Россией тяжесть грядущих и теперь же пришедших испытаний. Но означает ли это, что России был произнесен беспощадный приговор ее вдохновеннейшим историком? Верил ли Ключевский в Россию?

Народ, «из всех европейских народов наименее удачно поставленный исторически»⁷ создал «государство, подобного которому по составу, размерам и мировому положению не видим со времен падения Римской империи». В этом — право России на дань уважения к себе. А для нас, современников, небывалого ее унижения, может быть, это — залог того, что сегодняшняя нищета наша преходяща и временна. Ключевский учил нас объективности и реализму: «Обязанные во всем быть искренними искателями истины, — заявляет он, — мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост, определить свою общественную зрелость»⁸.

Ирония была одной из резко выраженных черт индивидуальности Ключевского, и потому в его лекциях так много едкого обличения, насмешки. Отсюда и чуть ли не котошихинские темные тона его многочисленных отзывов и характеристик о русских людях и о тех нелепых положениях, в которых ставила их жизнь. Но его склонность к юмору умещалась в его духовном облике рядом с тончайшей задушевностью, и его задушевный патриотизм вынуждал его выступать и апологетом русского достоинства, вдохновеннейших истолкователем русского исторического миссионизма. Чаадаевское осуждение болезненно задевало его патриотическое чувство, и словно в ответ на чаадаевское: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя», у него вырываются слова: «Если представить себе, сколько времени и сил материальных и духовных гибло в этой однообразной и грубой, мучительной погоне за лукавым степным хищником, едва ли кто спросит, что делали люди Восточной Европы, когда

Европа Западная достигала своих успехов в промышленности и торговле, в общежитии, науках и искусствах»⁹. «Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом, — это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни»¹⁰. Но еще резче и с большей горечью о том же он говорил другой раз: «Мы отвели и от Западной Европы и вынесли на своих плечах ряд нашествий, угрожавших миру порабощением, начиная с Батгя и кончая Наполеоном I, а Европа смотрела на Россию, как на переднюю Азию, как на врага европейской свободы... продолжала видеть в нас представителей монгольской косности, каких-то навязанных приемышей культурного мира».

Читая вступительные лекции в свой «Курс», Ключевский не думал, что мы так скоро будем ловить в его книгах отраженный свет его веры в Россию. Сам Ключевский, читая свои лекции в университетской аудитории, подчеркивал практическую цель нашего изучения русской истории. Но это практическое значение он видел тогда и ином: «История народа, научно-воспроизведенная, — говорил он, — становится приходно-расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. Прямое дело ближайшего будущего — сократить передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств». Это спокойные слова академического курса после вышеприведенной беседы Ключевского со Струве для нас оживают овеванными некоторым тревожным оттенком. Эта тревога и этот призыв Ключевского исправить и дополнить то, что еще не поздно, к несчастью, оказались напрасными и не достигшими своего назначения. России не была дана отсрочка для того, чтобы ее «новые государственные учреждения» могли получить надлежащую силу, — для того, чтобы ее «новая государственная ткань» смогла окрепнуть. Старыми «правлящими кругами» голос историка не был услышан и не был понят. Мы знаем, что и в Петергофском дворце осторожные предостережения Ключевского прозвучали диссонансом среди речей сановников, трудившихся над булыгинским законом о Государственной думе¹¹.

Кажется, мы вступаем теперь в эпоху, близкую по своим настроениям и безверию в будущее с той чуть ли не полутысячелетием отдаленной от нас порой безвременья на Руси, о которой Ключевский так взволнованно говорил в своей знаменитой речи «о значении преподобного Сергия»¹². Тогда русские переживали монгольское разорение и были задавлены татарским завоеванием. «Это было одно из тех

народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее... Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиваться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа»¹³. Тогда этой «темной страницы» не прибавилось, и Ключевский объясняет это чудо возрождения древней России ссылкой на то, что «одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься после падения». «Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы» и выйдет «на покинутую им временно прямую историческую дорогу». Про Россию в другом месте Ключевский писал: «В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного менее ждать от природы и судьбы и более выносливого»¹⁴.

В наши страшные дни потеряли ли мы окончательно ту веру, которой учит нас наш историк?

И неужели мы придем к конечному безверию и к последнему отчаянию?

